

Александр Андрюхин

НА КИТАХ

одиннадцатая книга стихов

1994

ПОКИНУТЫЙ ГОРОД

Но город, что покинут был людьми,
вдруг начинает мигом разрушаться.
Какая нечисть прилетает шляться
между домов пустых, звеня костью?

Ведь с той минуты не пройдет и дня,
чтоб трещина не врезалась в колонну,
иль с грохотом на землю весом с тонну
не рухнула столетняя лепня.

А следом камень, мрамор и гранит
ветшают, превращаясь постепенно
в песок и пыль. И сорная мгновенно
растительность теснит громады плит

И в воздухе нет времени, и в днях
уже царит могильная усталость.
Да разве же на сваях жизнь держалась,
да разве в глине дело и камнях?

Когда покинут город, о летах
уж не ведется речи из разрухи.
На человеческом держится все духе,
и не в слонах тут дело и китах.

И НЕ ТОЛЬКО

Когда вся жизнь игра,
люблю для Мельпомены
перебирать фонемы
и рифмы в них вплетать.
Когда весь мир дыра,
чем плохо в вечер некий
для строгости элегий
чуть о себе приврать?

Слезу пустить в рукав,
смешать мазки и краски,
надумать сны и ласки,
слепцам глаза открыть.
Пожалуй, я лукав,
но я лукав не злобно.
Когда на сердце постно,
о том пытаюсь скрыть.

Я не люблю к стыду
трепать себя на бирже,
но от пустейшей вирши
щека всегда влажна.
В дворце ли, во саду
влюблюсь в какую нимфу?
Мне искренность под рифму
не столь уж и важна.

Беда ли, не беда,
война, чума, протрава,
победа, трубы, слава,
тюрьма, гранд-опера —
играйте, господа,
легко и грациозно!
Все в мире несерьезно,
ведь жизнь, она игра.

Так и умру, свой пыл
загнав в свои же сети,
и не узнают в свете
ни гений, ни герой,
что я не тот, кто был
под солнцем и под тучей,
что ни одно созвучье
я не считал игрой.

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

А был ли мальчик? Безусловно, был.
И девочка была. И звали Таней.
И голос «классной» сонно, без стенаний
вихры ребят героями кропил.
И в этот день она опять в окно
глядела, наклонившись над тетрадкой,
а мальчик, на нее косясь украдкой,
припоминал вчерашнее кино.
В него он с ней бы мог без всяких драм
сходить вчера, хоть трижды нос расквасят.
Но робость, что мужчин совсем не красит,
так свойственна влюбленным пацанам.
Доска в мелу, в мозгах ребячьих чушь,
на сердце грусть, записка под пеналом.
А «классная» все что-то объясняла,
но объяснять не нужно было уж
про Ларину, поскольку с ней давно
все ясно: жеребцов не любят лани,
поскольку все на свете схожи Тани,
когда глядят задумчиво в окно.
Виват порывам сердца и уму!
Виват душе, что в чем-то провинилась!
Но что в груди у мальчика творилось —
до этого нет дела никому.
Он и сейчас не знает в тридцать шесть
своей души — приснилась что ли с дуру?
И был ли тот урок литературы?
И был ли мальчик? И где нынче есть?

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Я нахожусь в том возрасте, когда
претензии судьбе не предъявляют,
и свой не лучший век не обвиняют,
и ценят жизнь, а не одни года,
и любят всех, не только, скажем, лиру,
и не берутся тут же за секиру,
когда твой ближний входит как беда.

Уж гневных строк в газету не строчу,
уж не ропщу и по стране не рыщу
в исканьях правды, и шальные «тыщи»
сорвать в таежных чащах не хочу.
И на друзей не злюсь, что издаются:
и без меня над ними посмеются
и похоронят... и зажгут свечу.

Уж улыбаюсь, видя как сосед
дворец сооружает, и не внемлю
его восторгам. Сам себя он в землю
на долгих зарывает двадцать лет.
Потом поймет, над миром пролетая:
«Материи куски приобретаю,
души теряешь сокровенный свет».

Мне право жаль и тех, кого закон
не покарал еще за преступленье.

Настигнет кара их. И искупление
наступит... час придет. И вот в полон
возьмет их души дьявол. И вовеки
их не очистить ни крестом, ни в Мекке,
и будет лязг зубов и слез вагон.

Я нахожусь в мирах, в которых тьмы
уж не бросают тени на дорогу,
и говорю я с чувством: «Слава Богу!»
И понимаю мудрость кутерьмы
всей этой, как бы даже бестолковой
(в которой больше царствует целковый),
что всеу называем жизнью мы.

ОБ ОТРАЖЕНЬЯХ В ЛУЖАХ

Мне снился сон, и странен был мой сон:
печальный вид его и серый тон
предупреждали о конце ближайшем,
о том, что мир висит на волоске.
К закату склонен был там день тишайший,
а я к тишайшей склонен был тоске.
Мне ехать было нужно. И в автобус
вошел я, но услышал друга голос.

Я знал, что умер он. Чего же так
был взгляд лучист его, горяч кулак?
Я огляделся: Боже, как их много
давно умерших все, но теперь
воистину воскресших, на дорогу
смотревших и входивших через дверь.
Когда же сон ушел в луга и нивы,
я удивился: все, кто снились, живы.

Я вышел и побрел к трамваю. Друг
мне шел навстречу, как ночной мой глюк.
«Привет! Ну как живешь? Бегу по делу».
И вдруг пронзила мысль, что вправду вот
давно он мертв, и это только тело
по улицам в делах еще снует.
Но там во сне воскрес он. Наяву же
лишь воскресают отраженья в луже.

ЖЕЛАНИЕ

Конечно, нужно раньше бы вставать
и голову под кран, как это водится,
газету взять, чтоб тут же с ней рассориться,
и дикторов к прабабушкам послать.
И так, взбодрившись, сесть и ждать весны.
Листы раскинуть для предмета оного.
Тут не Париж, тут родина Обломова,
едва зевнешь, и вот уж видишь сны.
И вот мозги, как вата. И плевать
уж на апрель, капель и зори краткие.
А сны такие милые и сладкие,
что мармеладом кажется кровать.
«Не спать!» — кричат с парнасовой горы.
От лени даже камни разрушаются,
и во вселенной вихри нарушаются,
и гибнут души, звезды и миры.
Нет-нет, лишь обливаться по утрам,
пить кофе, бриться, стричься и так далее,
и муз свистать: Эрату, Клио, Талию,
уйти в стихи, отбросив лишний хлам.
Отбросив все, бессмертие ковать,
ждать счастья и пророчить принцев в даниях,
судьба поэта вечно в ожиданиях,
в надеждах вечно... только бы не спать.

СИНЬ

Как хорошо уйти в осенний лес,
найти поляну, лечь и видеть небо.
И с небом слиться, с синью. И от Феба
познать пространство полное глубин.

Познать эфир, в котором вдруг исчез
ненужный мир и шумный, и печальный.
Полна природа сини изначальной,
ты полон дум от огненных рябин.

Ты полон смысла, как и этот край,
глаза зажмуришь, и перед глазами
все та же синь полощется часами,
и ты в ней растворен, как херувим.

И вот уже незыблем этот рай,
как в глупом сне, где, как бы ни гоняли,
ни резали тебя, ни убивали —
всегда ты цел, всегда неуловим.

ОТЧИЗНА

Сергею Чурбанову

С Серегой по Алешкиным озерам
шатаюсь без ружьишка с умным взором
и думаю, что лучше нет для русских,
чем среднерусской этой полосы:
березы в сочетании с осиной,
калины в сочетании с бузинной
печалью, что витает в поймах узких,
где ивы от речной ползут косы.

Здесь рай земной, непуганые птицы
и запах мяты, аромат душицы,
и сыроежек дух, и нет дороги,
но в дебрях больше истины в сто крат:
малина в сочетании с брусникой
и ветер в сочетании с музыкой
утиной, что, конечно, для Сереге
послаще всех бетховенских сонат.

Не ступит леший тут, не хрустнет ветка,
тут ходят редко, а Серега метко
стреляет из двустволки в этой жизни
среди забытых и поросших троп.
Ах, эти утки от природы чутки:
шарахнешь дробью из кустов — и дудки!
И, как сказал поэт: «Родной Отчизне
обязан буду этим я по гроб».

Так думал я, в болото ставя ногу,
мол, не австрийцы мы, и слава Богу!
Иначе только пиво и сосиски,
да киски сочетались в голове,
и что случись разлука и другие
дела какие, тут же ностальгия
начнет точить, и никакие виски
не преклонят главы моей к траве.

Отчизна, рай! И в нем мы визитеры.
России клочок. Алешкины озера
близ Мелекесса. Три груздя в корзинке,
да Черемшана комариный зуд.
Шататься бы с улыбкой тут веками,
мечтать, вздыхать и разгребать руками
кусты, со лба сдувая паутинки,
и слушать птиц... да жены дома ждут.

В ЭТО ЛЕТО

Как много душ возвышенных и милых
отбыло в мир иной за это время,
оставив нас в скитальческом сиротстве,
точнее — в толчее и идиотстве
бульварной жизни и бульварных мыслей
среди хамства, пыли, грязи и болота,
в своих заботах о своей же плоти.

Ушли от нас Леонов, Смоктуновский,
должно быть, в те миры, где мысль от Канта
исходит. Эта жизнь для их таланта
мелка, как речка горная. Все мчится
она из Божьего великодушья
в свое мелкооптовое удушье.
Вот, кстати, Роберт тоже в это лето
отправился туда вперед ногами.

Должно быть, прав Господь, их забирая
от нас бездарных, с кровью отдирая,
под самый корень вырывая, будто
не заслужил их больше мир скандальный.
Иль, как сказал Конфуций с пониманием:
«И Божеству нужны свои поэты,
тем паче те, что хороши собою».

Проходит лето, дни швыряя в Лету,
как, впрочем, все в усталом этом мире.
Как много их, покинувших планету,
людей великодушных и красивых.

...Подозреваю, это лишь начало.

В ДОЖДЬ

Нам с погодой с тобой не везет,
никогда не везет нам с погодой,
и колдуем весь день над колодой
стертых карт, а за окнами льет.
А за окнами вымокший луг,
пляж пустынный и тополь эфирный.
Если так начинался всемирный,
как не вовремя этот каюк.
Только смой полусонный свой грим —
это просто грибные вернулись.
Льют на радостях, что потянулись
снова люди к церквушкам своим.
Затянулись грибные дожди,
а грибы уж давно все собрали,
и малину с кустов обобрали,
только ты умирать подожди!
Подожди умирать в никуда!
Пусть на ветках тоскуют пичуги,
нас же карты займут, хоть в округе
с дураками проблема всегда.
Эх, умчаться бы на лошадях,
да понежиться в сытых европах.
Снова отпуск проходит в потопах,
как века проходили в дождях.
Нас куда-то за ними несет,
что поделаться с проклятой природой?
Не везло никогда нам с погодой,
может, после когда повезет?

НА КРАЮ МИРОЗДАНИЯ

О, мои молчаливые братья оттуда,
я совсем вас не помню! Среди шумного люда
одинокое слоняюсь. Точнее, плутаю
наугад в темноте. И когда-нибудь к маю
или к августу, братья, и я перед вами
отчитаюсь на небе, скорей, не словами.
Понимаю, что должен впотьмах и на брюхе
отбабахать свой срок во хмелю и не в духе.

Я не знаю, откуда и кем я ниспослан,
где обитель моя? Кто учитель: Апостол
или Черный Даймон? В чьих истлею объятых?
Этот мир в темноте и порочных зачатых
пребывает, где я, как в темнице Даная,
скучно дни провожаю, иного не зная.
Но уверен, что вас нет мудрей и красивей.
Чем болтливей поэты, тем вы молчаливей.

Вот опять одиноко иду на дорогу.
В небесах беспросветно. Ни черту, ни Богу
не внимают пустыни (ах, Миша, солгали).
Всюду тьма и безмолвье. Давно отмигали
те миры. И теперь словно в жмурки играем
на краю мироздания меж адом и раем.
Но повязку я с глаз отвязать не рискую,
вдруг, прозрев, мои братья, втройне затоскую.

ДА ПОЛНО, РОДНАЯ

Да полно, родная, томиться келейно
и хохлиться зябко, и кутаться в плед.
Давай откупорим бутылку портвейна,
поскольку ни капли шампанского нет.
Поскольку за окнами август, и долька
луны съела звезд полуночная рать,
поскольку печаль снизошла, и поскольку
не хочется спать, а пора бы и спать.
Поскольку трепещет листва, и волнение
листвы не понять ни потом, ни сейчас.
За окнами август, и августа пенье
на пару с дождями не радует нас.
Поскольку улыбкой уже не встречает
нас младость и радость не бьется в окно.
Поскольку наш сын, вероятно, скучает
с бабулей, и нам здесь тоска без него.
Поскольку нам здесь что четверг, что суббота
и тянутся сутки с космический год,
поскольку живем столько дней беззаботно
и нам не привычно с тобой без забот.
Поскольку кончается отпуск и мето-
немийное золото уж сыплет с дерев.
Поскольку наш день на исходе, и лето
уже отгорело, еще не горев.

ЗАВТРА

Конец всем песням! Впрочем, песни — что?
Конец и дням моим тебе в угоду.
Ты не дала мне счастья, но зато
даешь опять желанную свободу.

Не знаю, что пьяней: твое вино,
или свобода с воплями Дедала?
Не знаю, худо ль, хорошо оно?
Свобода тоже, думаю, не мало.

Я жить не жил, я жить еще учусь
без счастья, но в трудах, как вечный мерин.
Теперь я наперед не поручусь
теперь ни в чем, ни в ком я не уверен.

Мне по Сократу мыслить какво?
По Аристотелю себя стенаю:
«Я знаю, что не знаю ничего,
а впрочем, я и этого не знаю».

Но одолев всю нищету и лень
в своих мозгах, я полагаю, если
и вправду завтра будет новый день,
то, без сомненья, будут в нем и песни.

СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ

Дине Мартьяновой

В немецкой кирхе, не разваленной до ныне,
божественно поют сегодня «Stabat Mater»,
и светлая печаль, как горный глас в пустыне,
висит над головой, а ниже все — театр.

А ниже, за дверьми бульварная рутина,
трамваев грохот, шум и Кривда с кулаками.
Но Перголези дух витает здесь, и Дина
солирует, зовя в миры за облаками.

И светом залит храм. И голос у солистки
печален от тоски по существу. И странно,
должно быть, слышать речь латинскую в Симбирске —
нездешний мир, и скорбь «нетутошного» плана.

НАРОДУ

О мой народ, как ты постыло нем
в тяжелые для Родины моменты.
Как ты доверчив к проходимцам тем,
что обещают рай и дивиденды.
Как ты наивен. Как собой играть
ты позволяешь жуликам эпохи.
У них одна забота — отобрать
последние твои в заначке крохи.
Твоя судьба: с прикусанной губой
смотреть и ждать, когда падет система,
еще терпеть стоящих над тобой
расхристанных холопов дяди Сэма.
Забыл, народ, свой смысл и свой исток,
предназначение, славу и кручину,
как будто над тобой проклятый рок,
как ворон вьется, чуя мертвечину.
Опять обобран и опять забит
ублюдками без племени и рода.
И вопрошаю я, как Феогнид,
Ужель, Господь, другого нет народа?
И почему в стране который год
одна нужда не ведает забвенья?
О как же терпелив ты, мой народ,
и дай, Господь, еще тебе терпенья.

НА ОСТАНОВКЕ

Вот женщина с тоскою неразменной
трамвая ждет с мешком и в сапожищах,
как в довоенный год, послевоенный,
в год убиенный и рублеобменный,
как в год попозже — без бомжей и нищих.

В фуфайке той же, в платъице, и даже
с печалью прежней — не сыскать аннала.
Лицо в морщинах, на ладонях сажа...
Да это, Боже, женщина все та же,
что из руин Россию подымала.

Из ничего — заводы, новостройки,
колхозы и совхозы... и бесхозы:
от первой дойки до больничной койки,
от пересменки и до перестройки,
от дикой грусти и до «Дикой Розы».

Ведь это ей «обгоним — перегоним»
передовицы сыпали и следом:
«в три года — пятилетку» и «отловим
врагов», «воссоздадим и восстановим»,
«все для страны, для фронта, для победы».

Она, она в избу, как в Альма-матер,
горящую бросалась и кобылу...
да что кобылу — целый экскаватор,

рефрижератор, ротор, элеватор
руками останавливала с пылу.

Ах, это было: билась, голосила, —
и не спускался с миссией Мессия, —
месила, молотила и косила...

В России баба — тягловая сила,
на том она и держится, Россия.

Уже давно в Израиле жидовки,
жлобы с ворами стали господами,
«тойоты» тормозят у самой бровки.
И лишь она на той же остановке
трамвая ждет с мешком своим годами.

Уж мальчики все в блайзерах. Девицы
сверкают в чем-то супер или «плизир».
Макдональдсы кругом, кофейни, пиццы,
ворюги ездят в Гамбурги и Ниццы,
и мэр себя ведет как ясный визирь.

Уже повсюду офисы и виллы.
Уж мировая, следом половая
проблема веку пятки отдала.
И только в ней часы остановило.
Да хоть мешок бы наземь опустила,
когда не видно в сумерках трамвая.

О ДЕВЕ И РОЗЕ

Андрею Вознесенскому

В железный наш век, что звенит, как подкова,
где дух догнивает в джинсе и вискозе,
о деве и розе замолвите слово,
замолвите слово о деве и розе.

О духа прорабы! О люди, что толку
мы к звездам взирали? Нам звезды молчали.
И деву прогресс деформировал в «телку»,
а розу — в эмблему вселенской печали.

В наш век пребывания не в духе, а в позе,
где свора со сворой в типической сваре,
замолвите слово о деве и розе,
как некогда некто о бедном гусаре.

Но Бог с ним, с гусаром, тем более, с бедным,
куда мы без девы, без розы куда мы?
На лике у века от холода бледном
блуждает безмолвье и светятся гаммы.

И ЛОЖЬ-ТО НЕ ЛОЖЬ

Анжелике Нисан

Давно мне чужая не снится страна,
где солнце — не солнце, луна — не луна.
Погибла, должно быть, она ни за грош:
что верно, то верно. А может, все ложь.
В ней стужа — не стужа, костры — не костры,
я в образе зверя, ломая кусты,
куда-то бежал весь в песке и ветрах,
и кутал туман, и опутывал страх.
И ливень хлестал по садам и лесам,
и взгляд свой звериный я слал к небесам,
но взгляд небеса отсекали мой прочь,
и день был не день там, и ночь-то — не ночь.
Там жухла листва и чернела трава.
От звона шального моя голова
была тяжелее, больнее в сто крат,
и что он так бил, колокольный набат?
Когда просыпался, вокруг тишина
вином разливалась. В мои письма
роняли созвездья рассеянный свет,
и шумно вздыхал я: «Скорей бы рассвет».
Скорей бы рассвет. И в своем полусне
я чувствовал, время, пожалуй, к весне:
капель и кустов полуночная дрожь.
И правда — не правда, и ложь-то — не ложь.

ВРОДЕ ВСЕ НИЧЕГО

Вроде все ничего, но опять я собой недоволен,
будто я не поэт, а какой-нибудь лавочник-турок.
Но брызга, что во мне, он из будущей жизни уволен
по статье «тридцать три» за прогулы от звездных прогулок.

Буду в будущей жизни изящен, как лев Бонифаций,
буду весел и щедр независимо от Зодиака.
Помню, как-то писал Мельпомене угрюмый Гораций:
«Моя лучшая часть избежит похорон...» Но однако

что сейчас в этой жизни мешает мне стать херувимом?
Обстоятельства, Флакк, что навязаны правдой и ложью —
свыше, снизу — не важно,

а важно — нельзя стать счастливым,
можно только — родиться, и то только с помощью Божьей.

ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ

Ты мне снилась сегодня. Бреду по столице,
утонув в этой речке людского потока.
У киосков толкаюсь, кофеен и «пиццы»,
у оркестров бульварных топчусь одиноко.

На витрины гляжу, на афиши, рекламу,
на нью-штатовский блеск и на лоск итальянский.
Я не знаю, звонить ли мне, слать телеграмму,
или рвать под сто двадцать в такси на Казанский?

Ты мне снилась вчера. В каждой ветреной фее
я тебя узнавал. Что со мной, не пойму я:
то мне грустно, что крыл за спиной не имею,
то мне весело: счастье, оно не минует.

Я потерян, родная! Пойти что ль напиться,
или в розыск подать на себя опьянело?
Все тоскует душа и куда-то все мчится,
все таскает она это брренное тело.

Ты мне снилась и будешь до гроба мне сниться,
простираь свои руки сквозь версты в разлуке.
Без тебя и столица-то мне не столица,
без тебя-то и радость — как вечные муки.

И ЭТО УЙДЕТ

Ты не плачь, ничего, успокойся — все это уйдет:
и усталость, и дрязги, и сонмы сплошных невезений.
Время — лучший из лекарей, время все это сотрет,
лишь запомнятся сладкие ночи и щебет весенний.

Время скуку разгонит, отбелит оставшийся чад,
ностальгию навеет и сгладит тернистые мили.
И когда мы однажды с тобой обернемся назад,
удивимся, что счастье нас знало, да мы не ценили.

Удивимся, что худа не помним, а дни, как вино,
все хмельнее. Бледнее обиды, и реже ненастья.
Раз не держится в памяти зло, значит, верно, оно
преходяще. И счастье всегда долговечней несчастья.

ПРОЩАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

Прощай, литературный институт!
Я без тебя бездомен, и как плут
в миру, в котором век не понимали
ни мысли в рифму, ни мечты мои.
И задушевные теперь чаи
гонять мне с кем? В какие топать дали?
Земные дали лишь минуты длят.
Они на час захватят, восхитят,
но утолят печаль мою едва ли.

Прощайте в кулуарах соловьи,
прокуренные лестницы, скамьи
с горой окурков не второго сорта!
Прощай, общага! Я теперь изгой.
Прощай и ты, читабельный покой,
в котором пребывали так не гордо!
Прощай костер души! До потрохов
я твой от неюта. Но стихов
писание не требует комфорта.

Прощай и ты, семинаристский суд,
неглупый люд, что больше пьет, чем тут
кропает что-то, выгнув брови-дуги.
Прощайте, мастера! Вам черт не брат.
Прощайте, препода и деканат,
зевота лекций, семинаров муки!
И ты прощай с пророческой тоской,
о муза, что платоновской доской
нас всех пришибла как-то на досуге.

ВНОВЬ

Над тайгой безбожно вечереет.
Табор пуст. Костром потухшим веет.
Кровососов облако. И что-то
лось задумал за кустом (кретин!).
Жду, грущу: скитальца ли, аскета,
дровосека, ханта ли, поэта?
Выхожу один я на болото —
как всегда один, совсем один.

Ой шикарно небо в завитушках
карликовых елок. И в гнилушках
сапожища для светоэффекта,
так сказать, в болотный рай прожект.
Тишь, покой, от сырости икота.
Я стою один среди болота.
Мне стоять бы посреди проспекта,
но судьбой не спущен мне проспект,

как и галстук с троечкой, ботинки,
рестораны, бары и с картинки
девушки — все более к эстраде
подходящие, чем, скажем, к нам.
Здесь, в таежной дикой глухомани
бродят по болотам ради «мани»,
я же тут брожу, ну, скажем, ради...
ради... ради... Черт! Не знаю сам.

Я не знаю, ничего не знаю.
Из болот мне, может быть, к Синаю
топать нужно. К черту же икота,
и пусть здравствует мой вечный пыл!
Или что-то я познать из пота
должен тут, торча среди болота?
Жду чего, жалею ли кого-то?
Ведь когда-то знал, да вот забыл.

СЕРДЦУ

Куда все рвешься из груди,
летя, как мысль, вперед каретки?
Твоя судьба — как птицы в клетке —
сидеть и биться взаперти.
Снаружи дразнят соловьи
свободно, славно и надменно,
а ты лишь стонешь вожделенно,
когда касается любви.
Когда касается какой-
нибудь красоти особливо,
как, сердце, ты нетерпеливо,
как ненавидишь свой покой.
И рвешься в мир, как рвутся в бой,
но в этом теле — как в болоте,
покуда, где угнаться плоти
хотя бы в мыслях за тобой.
И остается каменеть
и на кусочки разрываться,
чтоб грубой плоти не поддаться,
чтоб знала место брэнность впредь.
Терпенье, друг! Ведь это ложь
про судьбы, рок и невезенье.
Тебя, мой друг, спасет терпенье,
а ты миры мои спасешь.

МУХИ

Мухи, мухи, чьи вы духи?
Что вы тучей вьетесь, мухи,
надо мной, зовя в свой Тартар,
искусав и лоб, и чуб?
Я увяз в таежных чащах
диких, спящих и пропащих,
ноги стер, посеял карту,
но раз мыслю, то не труп.

Мухи, всем по оплеухе
посылаю в мыслях, мухи!
Что к моей прилипли плоти —
час предсмертный ли грядет?
Или в чаще той кудлатой
затаился косолапый,
иль сохатый на болоте
мне вспороть решил живот?

Или метит прямо в темя
рысь-убийца, или племя
(незнакомое, младое)
леших село на дубы?
Иль кикиморы канканы
пляшут, зарядив капканы,
или вновь я под пятою
злого рока и судьбы?

Мне бы рухнуть в мох! Высоким
быть устал и одиноким,
и устал скитаться, духи,
и просвет искать устал,
и пенять на неустойки,
только зря к своей попойке
вы готовитесь. На брюхе
доползу, раз я сказал.

Не вставай же на дороге,
черт лохматый из берлоги
и сохатый... И до света
не тревожь таежный див!
Хрустнуть веткой, рысь, попробуй —
вмиг вгрызусь в твою утробу!
Есть народная примета:
зубы целы — значит жив.

МНЕ ГРУСТНО

Мне грустно оттого, что вот уже как сутки
окончил свой роман, а новый не нашёл.
И думаю теперь, болтаясь в промежутке
междуроманья, зря конечно так спешил.

Я снова одинок, мои литперсонажи
покинули меня, забыв и тень родства.
А новых нет ещё, пусты аллеи, пляжи,
и сыплется с деревьев отжившая листва.

Отжившая листва шуршит, зовет к покою,
но все бежит, спешит, рождая Божий гнев.
А жизнь, она везде, и что она такое? —
Задуматься над тем лишь можно, умерев.

А я лишь в повестях живу, дыша стихами,
и время, как везде, кладет свою печать.
И кружится листва над городом веками.
Скорей закончить жизнь, чтоб новую начать.

ЛИСТЬЯ

О чем вы, листья, шелестите,
о чем вы шепчетесь ночами,
когда дневные за плечами
заботы уж не так важны,
когда устало тянут нити
к проходим горные вершины
и звезды вышли, и машины
с трамваями едва слышны?

Когда уже огромный город
сопит, и в воздухе базарном,
угарном, нервном, лучезарном
и жизни прежней нет следа,
и месяц, что уже не молод
(но все бодрится фанфароном),
выходит мир глядеть в коронном
своем обличье? И когда

осела пыль, и точно сроду
сует не знали в этом мире,
и только в радиоэфире
все та же радиовозня,
и также слезы льют и воду,
и на кого-то «катят бочки»,
и расставляют те же точки
над «и» от сотворенья дня.

Тогда-то наконец тревожно
приходит час ваш пошептаться,
пошелестеть, себя (как статься)
по отчеству повеличать,
поведать важное. Возможно —
не только отрокам и девам.
Но глоток Бог не дал. И где вам
шум городов перекричать?

О чем вы, листья, шелестите,
о чем вы шепчетесь друг с другом
то нежно, то почти с испугом
над крышей, лавкой, над лотком?
Видать, о том, о чем хотите
поведать свету с миной кроткой,
никак нельзя с луженой глоткой,
а можно только шепотком.

СОЗВЕЗДИЯ

Костер ли распалю во весь накал,
в ночную высь вопьюсь ли, как из ложи,
и удивлюсь дурашливо, да кто же
в роскошной бездне живность разгадал?

Медведицу, Кентавра и Стрельца —
среди хаоса и пыли мельтешенья?
Да чей же это плод воображенья?
А впрочем, эта живность не спроста.

Ой не спроста! А мы, как туча тли,
что на вилке капустном и уютном,
все размышляем о своем минутном —
а до большого — нет, не доросли.

Быть может, мы действительно среди
той фауны, чьи не окинешь акры,
а мы с планеты видим только чакры,
которые звездами нарекли.

СОН ЦАРЯ ЛЕОНИДА

По небу женщина летела —
прекрасна женщина на небе.
Не знаю, — праздно ли, по делу?
Должно быть, — к Федре, или Гебе.
И молвил я своим спартанцам:
— Какая женщина над нами!
И лучник лоб постукал пальцем:
— Лечиться надо... временами...
— Но мужики, как есть, в натуре,
ослепли, видя лишь монету!
Готовы всякой верить дуре,
а мне не верите, поэту.
И устыдившись, други стали
взирать на облако без веры:
— И вправду, баба, — зачесали
затылки, — кудри как у Геры.
И все реальное в рутине
забыли, в небесах витая:
— И вправду, словно на картине,
красивая и молодая.
Но растворилась, словно в песне...
И небо синим и глубоким,
и легкокрылым стало (если
добавить перистые клоки).
Вот клочок сорвался, словно нимба
кусочек из горного металла,
как в знак того, что жизнь Олимпа
не только в гимнах протекала.

ПО ПОВОДУ «ПИСЕМ К ЛУЦИЛИЮ»

Мне не понять, прожив полвека,
зачем военному Сенека?
Вот распижонился-то, эго,
мой друг старлей под первый снег.
К чему? Ведь даже по Платону
ему бы зуб стальной Горгоны,
да щит к алмазному кулону,
и больше никаких Сенек.

О небо, я за этот томик
отваливал еврейский сонник
и полку книг из цикла «Подвиг»,
и вслед, расщедрившись, пихал
Агату, Генри, Юлиана,
Дюма, Дрюона, Чейза, Манна,
еще Дидро и Лукиана,
но он, как говорят: «Начхал!»

Хоть проживи еще полвека,
мне не понять, на что Сенека
старлеям? Я как человека
просил открыть, но он впотьмах
курил, молчал и мрачно чахнул,
как будто политуры ахнул,
или во ржи доярку трахнул
(как у Никулиной в стихах).

И чем он больше замыкался,
тем я бездарней загибался:
метался, плакал и брыкался
и понимал, что мне не жить
без писем нравственных Сенеки.
О поднимите, други, веки
на мир, где все решают чеки!
И в этой мгле куда нам плыть?

Сенека, помните, мы были
знакомы, вместе ели, пили,
гетер любили и лупили
рабов под арф хрустальный звон?
И утопая, словно в луже,
в разврате, в море и на суше,
мы знали, не спасут нам души
ни Зевс, ни Кесарь, ни Ясон.

О как в мозгах у нас, Сенека,
искрились тосты: за абрека,
за ассирийца и за грека,
за женщин, любящих в траве!
И в те часы все были равны:
рабы, богини, нимфы, фавны.
Мой друг, вы не были тщеславны,
хоть и стояли во главе.

Но как, Сенека, вам икалось,
когда про письма вспоминалось,

и набухал кадык, как фаллос,
и тень спускалась по челу,
и мысль рождалась из насилий,
рассвет гудел, как сто Сицилий,
еще дремал ваш друг Луцилий,
но вы уж плюхали к столу.

Сенека, пейте скифов млеко
и вина эллинов, Сенека!
In vino veritas до века
последнего, ловите миг!
Вся жизнь то пьянь, то рвань, то драка,
и ваш пример — другим Итака,
но, Боже мой, какая бяка
ваш августейший ученик.

Все было так. И даже краше.
Все кануло, но письма ваши,
от мировой отлипнув каши,
остались жить, хоть в них вранье.
И чья согрела их опека?
Ведь от пергамента, Сенека,
белеют души, как от снега,
в снегу — чернее воронье.

Сенека, на заре багряной
я вас прочту. В той жизни пьяной
не довелось. Старлей упрямый
ведь не всегда же начеку.

Я вас прочту, мой друг, в печали
для пользы собственной морали,
но, что в той жизни вытворяли,
о том, Сенека, — ни гу-гу.

НОЧЬ С СЕНЕКОЙ

Но душа, она крылата,
ты лети, душа, голубкой!
Сбрось хоть на ночь, воин, латы,
не тряси, фракийка, юбкой!
Но упрятан дух под тело,
тело спрятано под панцирь.
В Риме ночь, заря сгорела,
блещет свод протуберанцем.
Кабаков открыты двери,
за столами панибратство.
Говорил старик Тиберий:
«Люди созданы для рабства».
На столах вино и яства,
гогот, хохот, да икота.
«Люди созданы для рабства,
словно жаба для болота».
Смотрит месяц, смотрит куцый,
бедный, бледный, словно в гриме.
До зевоты скучно, Луций,
даже спиться в вечном Риме.
Лишь надежды нас питают,
и когда войну объявят,
ой как в жилах заиграет
кровь, которая прославит.
Право, Луций, без лукавства
лучше доли нет, послушай,
чем из плоти, как из рабства,
выпускать на волю души.

ОЗАРЕНИЕ

С годами начинаешь понимать,
уже почти что на исходе века,
что за идею глупо воевать,
что нужно воевать за человека.
Но за него же с ним же быть в войне
глупее будет, кажется, вдвойне.

Глупее взор бросать на образа,
чем на цыгана, чукчу иль чеченца,
и что не только вот слеза младенца,
но вообще и взрослого слеза
не стоит тех абстракций и идей,
что арий в мир несет, иль иудей.

МЕРИН

Мой брат из меринов, — жара!
Лишь пот и кровь под внешним лоском.
Окончен труд дневной. Пора
впрягаться в новую повозку.
Покоя хочется подчас,
но этот мир не для покоя,
во всяком случае для нас,
для нас — труды и кнут изгоя.
Без роду, племени мы, брат!
Пора о смертном думать часе.
Ведь после смерти, говорят,
вошьют нам крылья на Парнасе.
И будет чуден этот миг,
и бесконечны станут дали.
Нам потому не дан язык,
чтоб на судьбу мы не роптали.
Мой брат из меринов, тяни,
покуда жив, свою телегу.
Получишь сено, воду, дни,
в друзья — горбатого коллегу.
Труды горбятят, сонных вдов
плодят, готовя к преисподне,
но все дороги без трудов
ведут, мой брат, на скотобойни.

ГЕСИОД

Все полагают, бедный Гесиод
страдал хандрой от бытоописанья.
А он творил картину мирозданья,
с которым мы имеем общий код.
А быта нет! Есть бытие и кров,
кров бытия, в котором кровь — мы сами.
Труды и дни (не путать с трудоднями)
творят из нас подобие богов.
Труды и дни, терпение и труд
все перетрут в душе и перемелют,
от планетарной серости отбелят
и вытравят тщеславие и блуд.
Труды и дни, и редкое плодов
вкушенья за прозрение над Гангом,
рывки то ввысь, то вновь к орангутангам,
в зависимости полной от трудов.
И первобытный стыд, и первый срам
творили в душах пахоты и нивы.
Труды и дни (не миги и порывы)
стабильность дали видимым мирам.
Земля еще качалась на китах,
а уж на ней крестьяне обитали,
чтоб после смерти распахнулись дали
уже без дней, но все равно в трудах.

ПОСОХ

Но посох пыльный, ты за что страдал,
терпя нужду в скитаниях по свету?
Ну я — понятно. Я поэт. Поэту
скитанье свыше кто-то начертал.

Причем здесь ты? Шуметь бы да цвести
тебе в саду своем, где я однажды
спилил твой ствол и обстрогал вальяжно,
чтоб он опорой стал в моем пути.

Мой путь туманен. Сзади лишь следы.
И есть ли смысл в следах, увязших сзади?
«Конечно! — думал я, — чего же ради
живем на свете?» И не знал, что ты

мог по-иному думать. Впрочем, нем
ты был, ночуя в норах и берлогах
со мною. Свой же смысл познав в дорогах,
твоей судьбой я пренебрег совсем.

И не спросив, то в пыль тебя, то в грязь
совал, с собой таская, дни итожа.
Так жизни наши кто-то свыше тоже
использует, не думая о нас.

В ЭТУ НОЧЬ

В эту ночь, что тиха и доверчива,
вышли звезды над миром мерцать.
В эту ночь и сказать-то мне нечего —
это все, что хотел я сказать.

В сердце тихо. Полжизни отмотано.
Был бы Крюков, сумел оценить:
«Эта ночь виртуозно сработана...»
Так сработав уж можно не жить.

В эту ночь просто нужно отважиться,
просто выдернуть сердце из жил:
ведь полжизни прошло, а я, кажется,
не творил-то еще и не жил...

БЕЗВЕСТНОСТЬ

А уже тридцать шесть, а еще ни одной
моей книги не знает читатель.

Тьмы и тьмы безызвестности над головой,
и никак не нашарю «включатель».

Словно нет их совсем, мною прожитых книг,
словно сам в этой жизни я не был,
а их десять уже, и они в этот миг
дышат собственной жизнью под небом.

Что ты, рок, доказать и чему научить
хочешь этим забвением снова:
растоптать ли тщеславие, гордость сломить,
вздуть ли цену печатного слова?

Но я цену назвал, и той силе дивлюсь,
что из слов стихотворных вбираю.
Не бесславия, нет, не забвенья боюсь,
а боюсь, что впустую сгораю.

Все горит на бумаге: верлибр и триптих,
будь то в Риме, Москве или Фивах.
Потому-то и лица серы, что на них
пепел чьих-то трудов кропотливых.

ТЕАТР РАСПАХНУТЫХ ДУШ

И когда пью вино я с приятелем Саней, и чушь
с ним несую о каких-то красотках с похмелья,
мне тоскливо и скучно, но я принимаю веселье
и участвую в этом театре распахнутых душ.

Но потом отмечаю с досадой, почти свысока,
что умней этих пьянок и жизней, катящихся в лужу.
Мне бы Канта в друзья, мне Сократу бы вывернуть душу,
но приходится, словно на сцене, играть мужика.

Распыляюсь я с Саней на темы, в которых не спец,
пью, не морщась, шучу на предмет ветчины или сала:
все Саньки да Саньки — Александров в судьбе не хватало.
Таковую ль судьбу вообще мне готовил творец?

Но сквозь слов шелуху замечаю, как пьяный мой брат
что-то держит большое под маской веселого кента
и со мной лишь играет по правилам, спущенным кем-то.
И кому это нужно — расскажет ли после Сократ?

МЫСЛИ ПОД РЮМКУ

Эх, шарахнуть что ли рюмку коньяку,
да с «Плутархом» завалиться на диван.
Третий день никак не вымучу строку,
но зато теперь богат я, как болван.

Снова грежу и грущу без новых строк,
снова муз зову, как воинство монарх.
Но Пегас не сыплет искры из-под ног,
и отводит утомленный взгляд Плутарх.

Завтра снова буду сир и снова бос, —
от зарплат высоких долго ль до заплат?
Буду к вечеру проситься в лоно грез,
но история, история все, брат, —

пепел, прах, который несть уже за честь.
Не гореть — (уж где мне?) тлеть бы, словно торф.
Наплевать, что в «Книге мертвых» строчка есть:
«Успокойся! Все! Теперь ты снова мертв».

ОКТАБРЬ

Дождями размыты дороги,
дороги размыты, и снова
вступаем в свое бездорожье,
как в лужи свои Казанова.
То время настало, и ноги
не портят как будто прическу,
но, как говорят: «На безбожье
и осень божественна в доску».

Размыто все к черту. Ни слова
вдогонку на шутку пустую.
Закон есть какой-то в природе:
все прошлое смыть подчистую,
все смыть подчистую и снова
навеять туманы и дали,
чтоб смертные в некоем роде
дороги опять пролагали.

НОЛЬ

На градуснике ноль, а это значит
ни то ни се, ни лето, ни зима:
как будто быт земной еще не зачат,
как будто жизнь не начата сама.
Как будто вновь она в своем раздумье,
куда же дальше, в сторону тепла,
или морозов двигать мир безумья,
творя свое нетление из тла?

Ноль — ничего. Никто смертельным жалом
не жалит. Ноль — ни буква, ни число —
лишь черточка слияния с началом
конца, где под пятой добро и зло.
А жизни нет пока. Но к обновленью
стремленье есть из начатого дня.
Завидую вселенскому терпенью
природы начинать опять с нуля.

Опять с нуля! Хотя уже не молод —
не сожалеть, не быть, не обладать,
чередовать упрямо зной и холод,
уравновесить, вновь чередовать
добро и зло, творенье, разрушенье,
то истлевая, то вмерзая в лед...
И эта круговерть нам представленье
о тайнах бесконечности дает.

НОВЫЙ КРУГ

Уже октябрь, десятое число,
уж лес пооблетел наполовину,
печально обнажив свои глубины,
точней, пустоты страшные, как мины,
что, в сущности, пожалуй, все одно.

Что, в сущности, мы можем обожать
то и другое, нервно пробегая
по жизни этой, мило полагая,
что жизнь не ждет, уходит, дорогая!
Пойдем и мы листвою в лесу шуршать!

Пойдем бродить по беличьей тропе,
дышать сквозь ветви синей акварелью
и слушать ветер, что звенит свирелью.
Потом, когда в свою вернемся келью,
поймешь причину осени в себе.

Листвы насобирать тебе велю —
багрянца из осинового ситца.
В альбоме сын из листьев склеит птицу,
ты следом — Шамаханскую царицу,
а я потом к ним рифмы налеплю.

Ой налеплю! И в Царское село
поеду по совету Мандельштама.
Ты, проводив, подумаешь упрямо,

что, вероятно, здесь виновна дама —
так ведь октябрь, десятое число.

Так ведь октябрь, десятое число —
готов пуститься, милая, вприсядку —
ведь новый круг! Все снова по порядку,
пусть не всегда стреляли мы в десятку,
но упрекнуть нельзя, что не везло.

ЗАКЛИНАНИЕ

Да защитит любовь моя
тебя от порчей и болезней!
Господь не выдаст, а свинья
да будет с жизнью полюбезней!

Да будет сердце не в крови,
а поймано в Господни сети!
Я в силу верую любви,
и в чудо верую на свете.

Да обойдут нас холода,
задув навек унынья свечи!
Когда же свалится беда,
подставлю голову и плечи

и выстою, и все снесу:
тоску, презренье, бедность крова,
лишь ты бы, ты в любом часу
была мила бы и здорова.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Быть балероном смехотворно,
во всяком случае, — в Симбирске.
Но, тем не менее, пусть будет
им сын, когда пройдут года.
Быть каратистом просто скучно,
и очень скучно быть штангистом.
К тому же, штангу можно бросить,
а балерину — никогда.

Ах, можно бросить все на свете:
семью и дом, детей, отчизну,
но разве бросишь эту прелесть,
что гнется запросто в дугу?
Быть коммерсантом некрасиво,
тем паче русскому. На рынке
торчать стыдоба. И про бизнес
уже я слышать не могу.

Нет-нет, пусть будет кавалером
при лебедях и при газелях,
пусть на руках красавиц носит,
не требуя за это благ.
Ведь, право, хочется, ей Богу,
в разбросанное наше время,
чтоб кто-нибудь держал кого-то
так высоко, как держат флаг.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег всегда нелеп,
если снег, к тому же, ранний.
Станут скверы первозданней,
ночь светлей, короче век.
Привезет машина хлеб,
выйдет грузчица в фуфайке —
на шоферовские байки
не ответит, сплюнет в снег.

Не ответит, но вздохнет:
белизна вокруг какая,
чистота почти нагая —
надышаться ею всласть.
Снег кусты к земле пригнет,
ляжет в парки и на крыши,
снег тяжел на листьях рыжих,
не успевших наземь пасть.

Первый снег, он всех белей,
куст рябины в нем румяней,
но деревья безымянней
и смятенье на душе.
В мельтешеньи летних дней
все спешили, все тужили,
не попели... не пожили
с милой часу в шалаше.

Пес понюхает сугроб:
«Мол, откуда? Что такое?»
Всюду визг. И уже кое-
кто слепил снеговика.
Ни дорог вокруг, ни троп,
стужи скопятся над эгом:
что потом за этим снегом?
Эх, не видно ни фи́га!

Эх, не видно... А пока
нужно ставить «зной» в кавычки
и менять свои привычки,
и пейзажи в стужи вжать,
вместо пальм узреть снега,
вместо мини-юбок — шубки,
вместо блузок — мех. А губки
лучше бантиком держать.

Первый снег, он чище всех,
первый снег всегда внезапен,
с ним уже ни черных пятен,
ни зеленых на земле.
И уже ни дней, ни вех,
и уже такое снится...
Мысль одна: не раствориться
в этой снежной белизне.

ЧУЖИЕ ОКНА

Хорошо, когда стемнеет
и немного вымрет город,
побродить по тротуарам
и на окна поглазеть.

Не прилично? Я согласен.
Но премного любопытно,
что за окнами цветными,
каковы там жизнь и смерть?

В окнах красных и зеленых,
фиолетовых и желтых —
разноцветных этих окнах
тишь, покой под потолок,
и когда тоскливо, веришь
что в них дух царит эдема,
ведь не зря же жизнь бульваров
в них втекает, как поток.

Так и мы все неизбежно
(если верить Савлу) в царство
то, небесное вольемся
из князей и из грязей.
Но чужие окна, впрочем,
как и души, есть потемки,
даже если и сияют
самым райским из огней.

Но с одним не станешь спорить:
под торшерами чужими
обитает то, что счастьем
называем все мы.
И пускай оно чужое,
но, бродя вот так под вечер,
знаешь, есть оно на свете.
Пусть не мудрствуют умы.

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ

А потом ломлюсь я в двери,
не в чужие вроде двери,
не к какой-то, скажем, Мери,
и как будто — за своим.
Только слышу я: «(i,m) sorry!»,
словно я в каком Миссури,
понимая, что я как бы
то в забвенье, то гоним.

«Твоего на этом свете
ничего нет!» — шепчет ветер.
Я отдал бы (черт бы с этим),
что за этими дверьми.
Но они гнусны настолько,
те, кто хапнули с излишком,
что... а впрочем, мне не жалко,
если будут все людьми.

Я прощу долги хапугам,
и прощу свои обиды,
и воззрю в ту высь, где виды
тоже, скажем, не новы,
понимая, что те двери
тоже вроде бы не настезь.
Но пример есть Демосфена —
выбрить четверть головы.

ЛЮДИ

Не принимают и не признают,
не узнают, не ждут, не обнимают —
совсем не тем созвездиям внимают,
совсем не те орудия куют.

Совсем не те просторы бороздят,
совсем не те пространства обживают
и знать моих порывов не желают,
и жизнь живут — как срок тюремный длят.

И крылья не у тех, и на коне
совсем не тот, кому потом воздастся.
Вот повезло мне жизнью наслаждаться
в такое время, в эдакой стране.

Дают понять, за что-то все вина,
что я не тот, кем в юности назвался.
Я в мире этом сам ли потерялся,
иль этот мир потерян для меня?

Какие и куда молитвы слать?
Кто за меня в молитвах похлопочет?
Проклятый мир признать меня не хочет.
Иль сам я не хочу его признать?

НА ТРЕХ СЛОНАХ

Земля еще стоит на трех слонах:
на алчности, невежестве и зависти,
чтоб ощущали мы в трудах и праздности
пожар страстей в оковах и стенах!

Слоны на трех покоятся китах:
любви, стремленьи в высь и бескорыстии,
чтоб не забыли мы основы истины
среди забот в бетонных городах.

Киты же совершают некий путь
в том самом океане бесконечности.
Когда познаем тайны человечности,
тогда поймем Божественную суть.

ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ

Я также думаю еще, что не поэты
виновны в том, что их сегодня не читают,
не публикуют и совсем не почитают,
и упраздняют их до мыльной оперетты.

И если вдруг уже никто зрачком циклопа
не видит в них нужды до окончанья света,
то здесь трагедия людей, а не поэта,
и нужно снова ждать всемирного потопа.

И нужно знать, что в этом нету ни на йоту
хорошего, копаясь тут, под мирозданьем,
что всей червячной этой жизни оправданьем
и служит чудный гений пушкиных и гете.

ЛЮБОВЬ ТОЛПЫ

Упаси нас, Бог, под сорочий треск
нелюбимым быть, в этом мире, где
вяло чтут труды, но возносят блеск,
и не помнят тех, кто давно в беде.

Если ты, мой брат, не любим толпой,
чтобы не вершил в муках иль без мук,
никогда никто не зачтет с трубой
ни трудов твоих, ни твоих заслуг.

Возводи дворцы, разбивай сады,
человечностью козыряй в ларьке —
без любви толпы все твои труды
также хороши, как нарзан в воде.

Будь ты гений, метр, будь ты высших каст —
лишь любовь делам дни и годы длят,
лишь любимцам жизнь за дела воздаст —
их поймут всегда и порок простят.

НА КИТАХ

И не везет, и деньги не ведутся,
и вид февральский не пьянит очей.
Не отличаю дней уж от ночей,
но ощущаю, как они несутся
в небытие. Хоть это не научно.
Но я с наукой с детства не в ладах.
Не важно, что стоим мы на китах,
а важно, что живем на них так скучно.
Точнее, умираем. Бесконечность
из блеклых дней рождает лишь эмаль.
А за окном который год февраль
бесцветно претендующий на вечность.
Так скучно, что не хочет даже биться
порою сердце, втиснутое в «Форд».
И я вздыхаю, дернул же нас черт
в таком краю несолнечном родиться.
В таком краю, где все давно отпето,
где мертво льды уперлись в парапет.
И столько лет по льду скользим без света,
и есть ли он, тот сокровенный свет?
И лишь когда меня ты ловишь в сети
своих ресниц у сонного окна,
вдруг понимаю, что любовь одна
и есть тот свет единственный на свете.

СОДЕРЖАНИЕ

Покинутый город.....	3
И не только.....	4
Урок литературы.....	6
Откровенно говоря.....	7
Об отражениях в лужах.....	9
Желание.....	10
Синь.....	11
Отчизна.....	12
В это лето.....	14
В дождь.....	15
На краю мироздания.....	16
Да полно, родная.....	17
Завтра.....	18
Светлая печаль.....	19
Народу.....	20
На остановке.....	21
О деве и розе.....	23
И ложь-то не ложь.....	24
Вроде все ничего.....	26
Ты мне снилась.....	27
Прощай литературный институт.....	28
Вновь.....	29
Сердцу.....	31
Мухи.....	32
Мне грустно.....	34
Листья.....	35
Созвездия.....	37
Сон царя Леонида.....	38

По поводу писем к Луцилию.....	39
Ночь с Сенекой.....	43
Озарение.....	44
Мерин.....	45
Гесиод.....	46
Посох.....	47
В эту ночь.....	48
Безвестность.....	49
Театр распахнутых душ.....	50
Мысли под рюмку.....	51
Октябрь.....	52
Ноль.....	53
Новый круг.....	54
Заклинание.....	56
Между прочим.....	57
Первый снег.....	58
Чужие окна.....	60
Закрытые двери.....	62
Люди.....	63
На трех слонах.....	64
Оправдание жизни.....	65
Любовь толпы.....	66
На китах.....	67